













понятия «перемена» до понятия «количество». Анализ по тому же способу даст тот же результат: «это понятие» — какое бы то ни было, лишь бы широкое понятие — «противоречит самому себе».

Мы попробуем, для курьеза, посмотреть, какой судьбе подвергает этот прием исследования истины таблицы умножения.

Вы помните, арифметика говорит: «дробь, помноженная сама на себя, дает в произведении дробь».

Извлекаем квадратный корень из числа 2. Получаем иррациональное число. Оно — дробь.

Арифметика говорит: квадратный корень числа, перемноженный сам на себя, дает в произведении число, корень которого он.

Итак, квадратный корень числа 2, перемноженный сам на себя, дает в произведении число 2, то есть: дробь, помноженная сама на себя, дает в произведении целое число.

Что из этого следует? — Понятие об умножении — понятие, противоречащее самому себе, то есть оно иллюзия, ничего подобного с которой нет и быть не может. Никакого отношения между числами, сколько-нибудь сходного с понятием об умножении, нет и быть не может.

Заметьте, о чем идет речь. Уже не о том только, что ни в каком перчаточном магазине нет и не может быть двух пар перчаток. С этим вы уж примирились, убедившись, что нет на свете и не может быть ни перчаточных магазинов, ни перчаток. Но вы сохранили мнение, что когда вы имеете представление о двух парах перчаток, то вы имеете представление о четырех перчатках. Вы видите теперь, что вы ошибались. Ваша мысль, будто бы дважды два — четыре, мысль нелепая.

Хорош анализ? — Вы скажете: превосходен; и было бы жаль, если б надобно было прибавить к этому, что он противоречит математике, потому что в таком случае мы должны были бы признать его вздором.

Помилуйте, напрасное опасение. Неужели ж мы назовем его противоречащим математике? — В основание его мы взяли математические истины, и в выводе получили математическую истину. Мы разъяснили истинное значение умножения: умножение — иллюзия. Это математическая истина.

Таковы все анализы, даваемые схоластикой, называющиеся иллюзионизмом. И таково согласие результатов его анализов с математикой. У него свои особенные математические истины, потому он во всем согласен с математикой. Противоречить ей! — возможно ли? — никогда! Она подтверждает все в нем. Он опирается на нее.

Он получает свои математические истины тем же способом, каким удалось нам доказать, что таблица умножения — вздор, которому не могут соответствовать никакие отношения между числами. Каким способом устроили мы этот вывод, вполне согласный

с математикою?—Очень просто: мы исказили понятие о квадратном корне, объявив, что та дробь — квадратный корень числа 2. Арифметика говорит, что мы не можем извлечь квадратного корня из числа 2; не можем получить числа, которое, будучи перемножено само на себя, давало бы в произведении число 2; мы можем лишь формировать ряд чисел, каждое из которых, начиная со второго, будучи перемножено само на себя, дает в произведении число, более близкое к числу 2, чем давало, будучи перемножено само на себя, предшествовавшее число того ряда чисел. И если которое-нибудь из этого ряда чисел арифметика называет в каком-нибудь данном случае «квадратным корнем числа 2», то она объясняет, что употребляет это выражение лишь для краткости, вместо длинного точного выражения: «это число, будучи перемножено само на себя, дает в произведении дробь, настолько близкую к числу 2, что для данного случая эта степень приближения достаточна с практической точки зрения». — Мы отбросили это объяснение истинного смысла выражения «квадратный корень числа 2», дали выражению смысл, противоположный истинному его смыслу, — и этим способом приобрели «математическую истину», которая и дала нам вывод, что между числами не может быть никакого отношения, сколько-нибудь подобного понятию об умножении, — вывод, тоже составляющий математическую истину.

Отрицать математику! в наше время! Нет, в наше время это невозможно. Это могла делать средневековая схоластика. Но ни анализ понятия об умножении, сделанный нами по правилам анализов, какие дает иллюзионизм, никакой из этих анализов не отрицает математику. Напротив, иллюзионизм опирается на математические истины и его выводы согласны с математикою, подобно нашему анализу понятия об умножении выводу из этого анализа.

Математика — о! — это основная наука всех наук; иллюзионизм не может не опираться на нее. Он любит опираться на нее. Его анализы, подтверждаемые истинами и всех других наук, опираются основным образом на математику. Он пользуется множеством математических истин. И особенно любит две из них. Полезны ему и все другие его математические истины. Но особенно полезны эти две, особенно любимые им. На них основаны важнейшие его анализы, — анализы понятий о пространстве, о времени, о материи.

Первая из них: «Понятие о бесконечном делении — понятие, которого мы не можем мыслить».

Это математическая истина. Каким же образом в математике беспрестанно попадаются соображения, основанные на понятии о бесконечной делимости чисел? И, например, что же такое прогрессии с неизменным числителем и постоянно возрастающим знаменателем? Математика не только говорит о них, как о прогрессиях,



которые можно и надобно понимать, но и умеет суммировать многие разряды их.

Вторая из наиболее любимых иллюзионизмом математических истин: «Понимание бесконечного ряда превышает силы нашего мышления».

Но что же такое, например, те «сходящиеся» геометрические прогрессии, суммированию которых очень легко выучиться, как не бесконечные ряды? Если мы можем даже суммировать их, то, вероятно, можем же понимать? — Но и из тех бесконечных рядов, сумма которых превышает всякую определенную величину, очень многие совершенно понятны, не то что при больших, но и при очень скромных сведениях в математике. Например, бесконечный ряд

$$1, 2, 3, 4...$$

понятен всякому, выучившемуся нумерации. Еще проще понять бесконечный ряд

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1...$$

Чтобы понять его, достаточно узнать значение цифры 1 и знака +; так что легко понимать его и человеку, не успевшему еще ознакомиться ни с какими цифрами, кроме единицы. А сумма того ли, другого ль из этих рядов превышает всякую данную величину.

И добро бы те ряды, понимание которых иллюзионизм провозглашает превышающим силы человеческого мышления, были из числа рядов, понимание которых невозможно без понимания: каких-нибудь формул, не понятных людям, не изучавшим высшую математику. Нет, дело идет о рядах, понимаемых всеми грамотными людьми. Та математическая истина, что человеческий ум не в силах понимать бесконечную делимость, провозглашается по поводу вопроса, понятна ли человеку простейшая из сходящихся геометрических прогрессий, понимать и суммировать которые научат всех желающих арифметика; дело тут идет о прогрессии

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}...$$

Этого ряда чисел не в силах мыслить человеческий ум. А вторая математическая истина, говорящая, что понимание бесконечных рядов превышает силы человеческого мышления, говорит это по поводу простейшего из рядов чисел, формируемых чрез сложение, о ряде чисел, с непостижимостью которого мы уже ознакомились:

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1...$$

Да, об этих двух рядах чисел, — об этих, именно об этих, математическая истина говорит, что понимание их превосходит силы человеческого мышления.

Какую ж надобность имеет математическая истина говорить это? — А извольте читать:

«Понятие о пространстве требует мыслить о пространстве, как о делимом до бесконечности и как о безграничном. Мыслить бесконечную делимость наш ум не может; это превышает силы человеческого мышления. А мыслить безграничность, значит мыслить бесконечный ряд, образуемый сложением конечных величин; это также превышает силы человеческого мышления. Итак, понятие о пространстве требует, чтобы нами было мыслимо то, чего мы не можем мыслить; всякая наша попытка мыслить понятие о пространстве — попытка мыслить невы мыслимое. Из этого ясно, что понятие о мышлении — понятие, противоречащее самому себе, то есть иллюзия нашего мышления, и что нет и не может быть ничего сообразного с этою иллюзией»<sup>2</sup>.

Анализ, как видите, очень хороший, — ничем не хуже нашего анализа понятия об умножении. Математическая истина очень любит такие анализы. Сильно нравится ей и этот. А если бы мы могли мыслить ряд дробей, о котором мы говорили, и мыслить ряд слагаемых единиц, то мы нашли бы этот прекрасный анализ понятия о пространстве — фальшивым пустословием, противоречащим арифметике. Потому-то математическая истина и говорит, что наш ум не может ни формировать какой бы то ни было бы геометрической прогрессии, ни мыслить сложения. Вы видите, она говорит это по надобности. А вы думали, — по капризу. Не хорошо вы думали, не хорошо.

Анализ понятия о времени иллюзионизм производит буквальным повторением своего анализа понятия о пространстве, лишь с подстановкою соответствующих терминов; поставьте слово «время» на место слова «пространство» и слово «вечность» вместо слова «безграничность» — и будет готово: понятие о времени — иллюзия; ничего сообразного с этою иллюзией нет и не может быть.

Понятия о движении, о материи сами собою исчезают из нашего мышления, когда из него исчезли понятия о пространстве и времени, так что для их изгнания из наших мыслей, пожалуй, и не нужно было особых анализов. Но иллюзионизм щедр: он дает нам и особый анализ понятия о движении, и особый анализ понятия о материи, и анализы понятий о силе, о причине, — все это на основании математической истины, на основании тех же самых заявлений ее, которые разрушили наши понятия о пространстве и времени, или каких-нибудь других таких же заявлений, — всяких, каких угодно ему: математическая истина так любит его анализы, что с удовольствием говорит все надобное для составления их.

Математическая истина поступает похвально, делая так. Но откуда берется у нее сила на это? Отрицать арифметику — такое

дело, на которое математическая истина, разумеется, не может иметь достаточных собственных талантов. Очевидно, что она черпает ресурсы на это из какой-нибудь другой истины, глубже ее проникающей в тайны схоластической премудрости. И легко догадаться, из какой именно истины заимствует она силу говорить все, что нужно иллюзионизму. Математика — лишь применение законов мышления к понятиям о количестве, геометрическом теле и т. д. Она — лишь один из видов прикладной логики. Итак, ее суждения находятся под властью логической истины. А логическую истину иллюзионизм беспрепятственно изобретает сам, какую хочет. Схоластика — это по преимуществу диалектика. Иллюзионизм чувствует себя полным хозяином логики: «законы нашего мышления» — эти слова умеет он припутать ко всякой мысли, какую хочет он выдать за логическую истину. И этим он импонирует; в этом его сила, — в умении дробить и соединять абстрактные понятия, плести и плести силлогистические путаницы, в которых теряется человек, непривычный к распутыванию диалектических хитросплетений.

«Человеческое мышление — мышление существа ограниченного; потому оно не может вмещать в себе понятие о бесконечном. Так говорит логика. Из этого ясно, что понятие о бесконечном — понятие, превышающее силы нашего мышления».

Математическая истина не может противоречить логической.

И в эту ловушку, устроенную иллюзионизмом из перепутывания незнакомого математике понятия об онтологическом бесконечном с математическим понятием о бесконечном, попадают люди, хорошо знающие математику, даже первоклассные специалисты по ней; и, попавшись в ловушку, стараются вообразить, будто бы в самом деле есть какая-то истина в уверении иллюзионизма, что математическая истина одинаково с логической, — говорящую вовсе не о том, — требует признания неспособности человеческого мышления охватывать математическое понятие о бесконечном.

Иллюзионизм любит математику. Но он любит и естествознание.

Его анализы основных понятий естествознания, превращающие в мираж все предметы естествознания, основываются на истинах логики и математики; но его выводы из его анализов подтверждаются истинами естествознания. Он очень уважает истины естествознания — точно так же, как истины логики и математики. Потому-то все естественные науки и подтверждают его выводы. Физика, химия, зоология, физиология, в признательность за его уважение к их истинам, свидетельствует ему о себе, что они не знают изучаемых ими предметов, знают лишь наши представления о действительности, не могущие быть похожими на действительность, — что они изучают не действительность, а совершенно несообразные с нею галлюцинации нашего мышления.

Но что же такое эта система превращения наших знаний о природе в мираж посредством миражей схоластической силлогистики? Неужели же приверженцы иллюзионизма считают его системой серьезных мыслей? — Есть между ними и такие чудаки. Но огромное большинство сами говорят, что их система не имеет никакого серьезного значения. Не этими словами говорят, само собою разумеется, но очень ясными словами, приблизительно такими:

Философская истина — истина собственно философская, а не какая-нибудь другая. С житейской точки зрения, она не истина и с научной точки зрения — тоже не истина.

То есть: им нравится фантазировать. Но они помнят, что они фантазируют.

И расстанемся с ними.

Наши знания — человеческие знания. Познавательные силы человека ограничены, как и все его силы. В этом смысле слова характер нашего знания обуславливается характером наших познавательных сил. Будь органы наших чувств более восприимчивы и наш разум более силен, мы знали бы больше, нежели знаем теперь; и, разумеется, некоторые из нынешних наших знаний видоизменились бы, если бы наши знания были обширнее нынешних. Расширение знаний вообще сопровождается видоизменением некоторых из прежнего запаса их. История наук говорит, что очень многие из прежних знаний видоизменились благодаря тому, что теперь мы знаем больше, чем знали прежде.

Так. Но не остановимся же на заимствовании из истории наук неопределенного выражения: «расширение знаний сопровождается видоизменением их». Позаботимся ознакомиться с нею побольше; посмотримся, какие ж черты знаний видоизменяются от расширения знаний. Мы увидим, что существенный характер фактических знаний остается неизменным, каково бы ни было расширение их. Возьмем, для примера, историю расширения знаний о воде.

Термометр дал нам знания о том, при каком именно повышении температуры вода закипает, при каком именно понижении замерзает. Прежде мы не знали этого. В чем состоят видоизменения наших прежних знаний, произведенные этими новыми знаниями? — Прежде мы знали только, что когда вода закипает — она очень согрелась, а когда замерзает, то очень остыла. Неопределенные понятия, выражаемые словами «вода закипает, очень согревшись, а замерзает, очень охладившись», перестали ль быть верны? — Они остались правдою. Новые знания видоизменили ее лишь тем, что дали ей определенность, которой не имела она. Химия дала нам знание совершенно новое: вода — соединение кислорода с водородом. Об этом не было у нас вовсе никакого знания, хотя б и самого неопределенного. Но перестала ль вода



быть водою оттого, что мы узнали ее происхождение, о котором прежде не знали совершенно ничего? — Вода и теперь все та же самая вода, какую была до этого открытия. И все те знания о воде, какие были у нас до него, остались верны и после него. Видоизменение их ограничилось тем, что к ним присоединилось определение состава воды.

Есть дикари, не знающие льда или снега. И быть может, еще остаются дикари, не умеющие кипятить воду; и, быть может, не догадывающиеся, что туман — водяной пар. Если так, то существуют люди, знающие лишь одно из трех состояний воды, — капельножидкое, — не имеющие знания, что она бывает и твердым телом, и телом газообразным. Но то, что знают они о воде в единственно известном им состоянии ее, — ошибочное ли знание? — Вода, пока она не лед или снег и не пар, а вода в тесном смысле слова, — та самая вода, которую знают они. И их знания о воде — знания верные; очень скудные, но верные.

И от какого расширения наших знаний о воде ли, или о чем бы то ни было ином, изменились бы те свойства воды, которые мы знаем? Продолжала ль бы вода при обыкновенной температуре оставаться жидкостью, как теперь, каково бы ни было расширение наших знаний? Или расширение наших знаний переменит этот факт? Удельный вес воды при данной температуре изменяется ли от нашего знания о нем ли, о чем ли ином? Пока мы не умели определять, он был тот же самый; теперь мы умеем определять его с довольно большою точностью, но не вполне точно; что может дать нам относительно его какое бы то ни было расширение наших знаний? Оно может дать нам лишь более точное определение того же самого, что и теперь мы знаем с довольно большою точностью.

Мы — существа, способные ошибаться, и каждому из нас очень часто случается в житейских делах ошибаться. Потому каждый рассудительный человек знает, что в житейских делах надобно всматриваться и вдумываться, когда желаешь не наделать слишком много слишком грубых ошибок. То же самое и в научных делах. Потому в каждой специальной науке выработаны правила осторожности, какие нужны в частности для нее. Кроме того, есть особая наука, логика, говорящая о правилах осторожности, соблюдать которые надобно во всех научных делах. Но как бы хороши ни были правила и как бы усердно ни старались мы соблюдать их, все-таки мы остаемся существами, все способности которых ограничены, ограничена и способность избегать ошибок. Потому при всей возможной заботливости добросовестных исследователей истины различать достоверное от недостоверного всегда оставалась и теперь бесспорно остается в человеческих знаниях ускользнувшая от внимания исследователей примесь недостоверного и ошибочного.

Она остается. И чтоб уменьшать ее, ученые должны подвергать проверке все те знания, относительно которых есть хоть ма-

лейшая возможность разумного сомнения, вполне ли достоверны они.

Того требует разум. Присмотримся повнимательнее, как можно внимательнее, к этому его требованию.

Предположим, что взрослый человек, любознательный, но не имевший случая выучиться арифметике, находит, наконец, возможность начать учиться ей и понемножку добирается до таблицы умножения. Что надобно сказать о нем, если он решит, что не должен принимать ее за истину без проверки? — Его решение разумно. Вы, если подойдете к нему, когда он считает, действительно ли выходят по счету на камешках или горошинах те цифры, которые напечатаны в клеточках таблицы умножения, вы назовете его за это человеком умным. — Но он проверил таблицу. Все цифры в ней верны. Что теперь посоветуете вы ему? — Снова приняться за проверку таблицы, проверенной им? — Он осмел бы вас; и был бы прав. — Разум требует от учащегося арифметике, чтоб он проверил таблицу умножения. Но когда он раз проверил ее, разум говорит ему: «Для тебя она остается не подлежащею ни малейшему сомнению на всю твою жизнь».

И все ли клеточки таблицы умножения велит разум проверять тому, кто учится арифметике? — Если бы вы спросили у взрослого неглупого человека, которого застали за тою проверкою таблицы умножения, с первой ли клеточки начал он проверку, он отвечал бы вам: «В первой клеточке напечатано, что одиножды один — один; тут нечего проверять; и во всем том ряде клеточек, где поставлены цифры, соответствующие умножению на единицу, тоже нечего проверять. В следующих рядах — иное дело: в них проверка необходима. Но ту клеточку, в которой напечатано, что дважды два — четыре, я оставил без проверки: мне уж прошла надобность проверять ее; эту цифру я уж давно выучился знать, без книги; проверка этой цифры сделана мною давно, давно, и повторять проверку ее теперь — было бы глупо мне». — Если бы вы сказали: «Напрасно ты положился на свою память», — правы были ль бы вы?

Осмотрительность необходима. Но и осмотрительности есть разумный предел. Так говорит разум о житейских делах. Разумность сомнения имеет свои пределы и в науке, как в жизни.

Вы пишете письмо, довольно длинное. Вы кончили его. Вы прочитываете его, всматриваясь, не сделали ль какие-нибудь описки; поправляете, какие заметите. Не перечитать ли еще раз? — Если оно длинно, то бесполезно. — Но, быть может, и после второго просмотра остались, и после третьего останутся какие-нибудь не замеченные вами описки? — очень может быть. И хотя бы перечитали двадцать, тридцать раз, все-таки могут остаться ускользнувшими какие-нибудь описки: письмо длинно. Но и не перечитывать же вам его хоть бы десять, не то что тридцать раз. Что ж вы делаете? — Письмо длинно. И, пожалуй, каждое слово в нем

важно. Пусть, каждое. Но существенное значение имеют лишь несколько слов. Все остальные, как бы ни были важны, ничтожны перед важностью этих немногих. — И, просмотрев письмо раз, много два, вы всматриваетесь в эти немногие слова, только в эти немногие. Их немного. В них не очень трудно всмотреться очень хорошо. И вы — если вы человек с обыкновенною, — лишь бы с обыкновенною, и того довольно — силою человеческой внимательности, спокойно можете сказать себе: «довольно», и вложить письмо в конверт; вы знаете, хорошо знаете, что в существенных словах нет описки; а если и осталось не замечено вами несколько описок в остальном, длинном, то сущность письма не в этом остальном, хоть оно и велико по количеству строк, и если что-нибудь в этом остальном длинном и ошибочно, нет большой беды в том. Так ли велит разум поступать в житейских делах? И так ли велит он думать о разных степенях сомнительности разных частей их состава? И не говорит ли он, что даже в житейских делах, в которых, по многосложности их состава, не можем мы ручаться за совершенную достоверность всех частей, бывают части совершенно достоверные?

А что, если все письмо состоит из нескольких слов? А что, если только из одного, коротенького? Например, если вы написали письмо, которое все состоит лишь в следующих словах: «Здоров ли ты»? — Трудно будет вам написанное вами рассмотреть так хорошо, что ваш разум решит: описки тут нет, отсутствие описок вполне достоверно? трудно сделать такую хорошую проверку такого короткого письма? — А если вы, сам получив письмо, состоящее из одного вопроса, здоровы ли вы, отвечаете на него письмом, состоящим из одного слова «да», — то очень мудрено будет вам вполне изучить написанное вами до такой степени, что не останется для вас возможности сколько-нибудь разумного сомнения в отсутствии описок?

Это о житейских делах. В них разум велит нам быть осмотрительными, но и ставит нашей осмотрительности границы, переходя которые она из разумной осмотрительности превращается в глупость.

А в делах науки разум разве теряет права, принадлежащие ему в делах жизни?

Не будем говорить о том, допускает ли разум возможность сомнения в математических знаниях, какие мы приобрели. Это — абстрактные знания. Будем говорить лишь о конкретных знаниях, о которых исключительно и думают рассудительные ученые, когда говорят о том, достоверны ли наши знания.

Пока ученый, расположенный восхищаться силою человеческого разума подвергать своему суду все, или, наоборот, расположенный печалиться о слабости наших познавательных способностей, забывает о скромной истине в увлечении эффектными внушениями горячего чувства, ему легко писать безоговорочные ти-

рады о том, что все наши знания могут быть подвергаемы сомнению. Но это будет игра разгоряченной фантазии, а не что-нибудь рассудительное. Лишь начнем хладнокровно пересматривать содержание какой-нибудь области научного знания, — какой бы то ни было, — мы беспрестанно будем находить в ней такие знания, о которых разум образованного человека решает: «в совершенной достоверности этого сведения тебе нельзя сомневаться, не отрекаясь от имени разумного существа».

Возьмем для примера одну из тех наук, в которых примесь недостоверного наиболее велика, — историю.

«Афиняне победили персов при Марафоне» — достоверно это или сомнительно? — «Греки победили персов при Саламине»; «греки победили персов при Платее»<sup>3</sup> — и т. д., и т. д., — возможно ли образованному человеку иметь хотя малейшее сомнение в достоверности этих его знаний, сформулированных этими простыми, краткими словами? — Подробности наших сведений, например, о Марафонской битве, могут и должны быть предметом проверки, и многие из них, кажущиеся очень достоверными, могут оказаться или сомнительными, или неверными. Но сущность знания о Марафонской битве уже давно проверена каждым образованным человеком, проверена его чтением не то что лишь рассказов собственно об этой битве, а всем его чтением, всеми его разговорами, всеми его знаниями о жизни цивилизованного мира, — не прошлой только, но, главное, нынешней жизни цивилизованного мира, — той жизни, в которой фактически участвует он сам. Если б не было Марафонской битвы и если бы не победили в ней афиняне, весь ход истории Греции был бы иной, весь ход всей следующей истории цивилизованного мира был бы иной, и наша нынешняя жизнь была б иная: результат Марафонской битвы — один из очевидных для образованного человека факторов нашей цивилизации.

А к таким крупным фактам примыкают факты, достоверность которых непоколебимо опирается на их достоверность.

И что ж такое оказывается относительно наших исторических знаний? В составе их бесспорно находится много, очень много сведений недостоверных, очень много ошибочных суждений; но есть в их составе такие знания, достоверность которых для каждого образованного человека так непоколебима, что он не может подвергать их сомнению, не отрекаясь от разума.

Разумеется, то, что разум говорит об исторических знаниях, говорит он и о всяких других конкретных знаниях.

Проверены или нет для каждого образованного человека его жизнь в образованном обществе те его знания, что в Англии есть город Лондон, во Франции есть город Париж, в Соединенных Штатах Северной Америки есть город Нью-Йорк, и т. д., и т. д. о сотнях и сотнях городов? В некоторых из них бывал он сам и теперь живет или бывает в каком-нибудь из них. Во множестве



других он никогда не бывал; но допускает ли его разум хоть малейшее сомнение в достоверности его знания, что действительно существуют и эти сотни городов, существование которых известно ему лишь по рисункам, книгам, разговорам?

И кончим вопросами: четыре ль ноги у лошади? существуют ли львы и тигры? орлы — птицы это или нет? умеет ли петь соловей? Маленький ребенок может не иметь достоверных ответов на эти вопросы; но в образованном обществе — лишь очень маленький ребенок; десятилетний ребенок, живущий в образованном обществе, не только давным-давно приобрел эти знания, но и давным-давно перерос возможность подвергнуть, не отрекаясь от разума, хоть малейшему сомнению достоверность их.

Разум подвергает проверке все. Но у каждого образованного человека есть множество знаний, которые уж проверены его разумом и оказались по проверке не могущими подлежать для него ни малейшему сомнению, пока он остается человеком здравого рассудка.